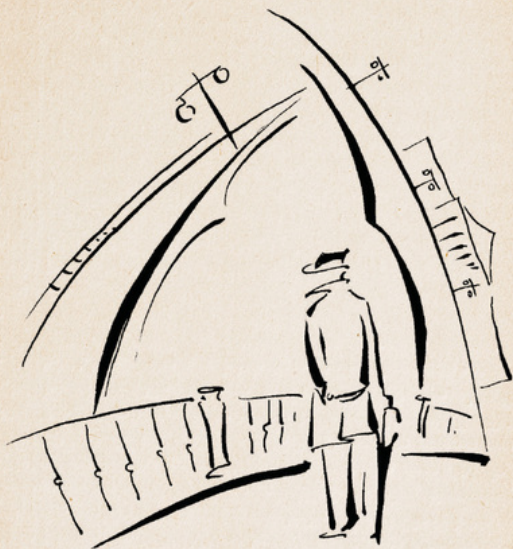


К А Л А К А З О



ЗОЛОТОЙ
треугольник

Kalakazo

Золотой треугольник

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=11960462

Золотой треугольник. / Kalakazo: Алетейя; Санкт-Петербург; 2015

ISBN 978-5-9906154-4-1

Аннотация

Новая книга автора Kalakazo «Золотой треугольник» представлена сборником циклов эссе, целиком посвященных Петербургу и его окрестностям, в которых он одновременно выступает и в качестве летописца Северной Пальмиры, беспристрастно запечатлевающего парадоксы в истории создания города-парадиза, застывшего в мраморном великолепии дворцов и парков, и в качестве писателя – исследователя человеческой души, через феномен двойничества приобщающего читателя к глубинным смыслам тайных знаков, кодов и ключей, отраженных как в парадных символах Петербурга, городских легендах и мифах, так и в непарадных – приоткрывающих его иное лицо, выпевающееся в «минорных речитативах» одинокой души, бесконечно скитающейся и растворяющейся в лабиринтах и мистических зонах улиц и площадей таинственного града.

Мотив двойничества, ключевой для творчества Kalakazo, «благодаря воображению и способности автора оперировать реальными лицами, историческими персонажами и конкретными

событиями», получает в книге новое звучание через редкий дар словотворчества и восстановление «русских культурных кодов», соединяющих расползающиеся края культуры и цивилизации.

В книгу включены циклы эссе из интернет-журнала «kalakazo»: <http://katakazo.tivejournal.com>

Содержание

Из цикла «Золотой треугольник»	6
Начало	7
Обретение	8
Хладное бурчание...	11
Берендеево царство...	13
Возвращение	14
Хороводны пляски	17
Минорныя речитативы	20
Зеркало	25
Солнечныя зайчики	28
Страусовы перья	31
На зависть потомкам	36
Прилежные ученицы	38
На корточках	41
Голосит	46
Выросши скоты	48
Скрип валенок	50
«Проклятие кармы»	54
Из цикла «Мраморный»	60
Сиделец	60
Пощёчина	64
Порточки	67
Ковыряться	70

Дозор	72
Хрусть-хрусть	75
Шило на мыло	78
Муки адския	81
Край бездны	85
Из цикла «Чижик-пыжик»	89
Учились вместе	89
Лествица	92
Наше всё	94
Конец ознакомительного фрагмента.	95

Kalakazo

Золотой треугольник

Из цикла «Золотой треугольник»



Начало

За окном ели, припорошенные новым снегом.
Бегущие облака по развидняющемуся небу.
Ожидание зимнего солнца.
Новая, точно снова первый раз, встреча с лесом.
Именно там, в лесной чащобе,
приходит ощущение реальности.

Обретение

Обретение Дома – всегда оставалось недостижимым чаением.

И чем больше

с годами

я обрастаю недвижимостью,

тем более выстуженными оказываются мои ночлежки.

Уже на второй день моего пребывания в городе:

«о Петербургъ, и я бегальъ въ твоихъ просшпектахъ» —
меня начинает тошнить

от стилизованного под Art nouveau моего «кабинета»,
от вида из моих окон на замызганные барельефы дома,

построенного Чевакинским

на месте петровской Тайной канцелярии,

где в подвалах

строители уже в 70-х годах

осьмнадцатаго столетия

все еще находили

посаженные на цепь и

свернувшиеся калачиком

скелеты гостей боярина Ромодановского;

от хлюпающей жижи под ногами,

от театральной публики,

по вечерам курящей у моего подъезда;

от актеров, бегущих на метро

с букетами цветов в ядовито цветном целлофане и

банками варенья от благодарных поклонниц;
от также ядовито подсвеченного Спаса на Крови,
от шлюх у гостиницы «Европа»;
от «бомонда»,
ночью опять курящего под моими окнами,
с наркотическими интонациями в выкриках:
«Максик! Ну, иди сю-юда!» —
и в пятом часу утра
разъезжающегося на лимузинах после тусовок и скачек.
Потому из городской ночлежки
уже на третий день я бегу в ночлежку загородную,
тоже с ледяным подражанием модерну,
но там есть лес.
Только в лесу я становлюсь самим собою:
после нескольких минут оцепенения
вдруг открываются зарницы
той Живой Жизни, ради которых и стоит еще жить.



Хладное бурчание...

Множество раз я в свой лес прибегал,
очередной раз выпотрошенный или
отутюженный асфальтным катком,
обложенный со всех сторон
посвистной облавою и ищейным гоном.
И лес ласково утаивал меня в своей чащобе
от двуногих волков,
бережно пеленал мои раны,
укрывая от житейских бурь и непогодицы.
Много раз я приползал в свой лес,
вывернутый на дыбе иль колесованный,
в гнетущих предчувствиях ещё большей беды
и совсем уже близкой жизненной катастрофы.
И уже почти бездыханным
повалившись на ложе из мха,
муравы и сосновых иголок,
в шуме крон я находил ответ и разрешение
всей мой бытийственной неспрухи.
А в хладном бурчании порожистой и бурливой
(никогда не стягивающейся ледяным панцирем)
и беспечно весёлой Юли-Йоки
вдруг простыми стекляшками обнаруживались
те велия украшения,
каковыя я полжизни почитал
за реликвии и драгоценности...

Берендеево царство...

Утром в своём лесу я просыпаюсь
от оглушающей тишины —
не энтропийной и вся мертвящей
апокалипсной гибелью всего живого,
а той, что повязывается в один узелок
с гармонией, ладом, благодатию.
Избёнка моя на курьих ножках
на семи ветрах за ночь
выстуживается до семи градусов,
и первым делом я натаскиваю берёзовых полешек,
растапливая берестюю печь,
приношу ведёрко с родниковой водицей
и пью свой утренняя кофий,
просматривая картинки в полинявших журналах.
А в восемь, когда наконец-то развиднеется, прямо
у порожика становлюсь на свои
дровяные самоходы
и, отгалкиваясь бамбуковыми палками,
обхожу своё Берендеево царство...

Возвращение

Возвращение в Петербург давно
уже стало отработанным и привычным ритуалом,
но всё одно для меня остаётся событием.

Возвращаюсь зимой из Териок
непрерменно с толпою лыжников и лыжниц
(сухоньких старичков и бабуль),
каким самим хоть уж под восемьдесят —
всё ещё на дровяных финских лыжах
с бамбуковыми палками.

Здесь же и пестрядная толпа налёдных сидельцев:
в валенках, кургузых тулупах, облезлых шапках-
ушанках,
с ледовёртами и ящиками-самоделками.

Опосля подлёдного клёву
и основательного сугреву
они друженно в вагоне электрички
вдыхают кислород и выдыхают спирт.

Улову с гулькин нос, зато целый день
долгожданной свободы
от занудственного ворчания собственной старухи.

В Келломяках бодренно, скачуще мальчиковой
походкой,

в оранжевых штанцах и
в кудловатом кепи на слипшемся паричке,
в вагон подсаживается Олег Каравайчук —

единственный на всё Комарово
сохранившейся гений.

Он садится поодаль от меня
и начинает согбенной головушкой
в такт покачиваться,
временами конвульсивно вздрагивая и подёргиваясь
от очевидно слышимых им
стальных поскоков
диссонирующей музыки...



Хороводны пляски

С трудом переношу все «праздники»,
но ещё более невыносимо,
когда народ неделю-другую «отдыхает».

Сам никогда в жизни
не ходил каждодневно на работу,
да и не работал, по существу, никогда,
если понимать под работой
труд по найму
за положенную пайку хлеба,
однако сам
не люблю ни праздношатаев,
ни стёбных поскоков,
ни шальных выкриков в середине ночи
под моими окнами,
когда я честным образом
ворочаюсь,
измученный
очередным приступом бессонницы.

Не люблю толпы
и тем более «народа» —
его массовой культуры,
его ряженных петрушек
и клоунады на сцене и в жизни.
Доподлинно знаю, что свобода губит,
скажем, того же актёра,

и без узды и ляжки
его жизнь и его творчество
часто прогорает
подобно бикфордову шнуру.
Совсем не понимаю,
что такое демократия
или даже соборность
и тем более не понимаю
этого навязчиво надуманного
Михаилом Бахтиным
мира карнавальных хороводов,
пародию на каковые
ещё целый месяц
придётся созерцать
на моей площади «Искусств»:
балаган,
слюнявая цыганщина
и видимость разухабистости,
«широта русской души»,
безумолчная скороговорка
масочных мимов,
да и жажда самого люда
оторваться и угореть
в прилюдном разногишании.
Сам Михаил Бахтин попал на Соловки,
кажется, в 29-м
по надутому в мыльную антисоветчину
кружку «Воскресение».
Александр Александрович Мейер

устроивал на дому посиделки,
где молодёжь 20-х,
за чаем и сухарями,
из пустого в порожнее
переливала о Боге и Церкви.
Сурьёзное оказалось преступление:
арестовано было больше ста человек
и, как выяснилось уже в начале 90-х,
вспомнили и назвали их всех по именам
(даже тех, кто захаживал случайно и единожды),
именно братья Бахтины, Всеволод и Михаил...
Потому навязчивым и
стал впоследствии для Михал Михалыча
его панегирик всеобщему
маскараду и «задиранию юбок»,
перемене «верха» с «низом»,
подмене «переда» – «задом»,
бунту супротив всякой иерархии ценностей,
ибо в этом карнавальном кружении
(а про это он уже никогда никому
не проговаривал вслух)
ведь и происходит чаемое
снятие ответственности
и вообще всякой личной вины
за когда-то,
по молодости и малодушию,
преданных и отправленных
на Голгофу...

Минорные речитативы

«В какой красотище Вы живёте!» —
приговаривают мне мои гости.
Навещают они меня, по обычаю,
в белые ночи
и говорят обо всём с патетикой,
и я им, впрочем
после долгой паузы,
вторю: «Да-да-да,
но если б вы знали,
что с ноября по март
„наш городок“
совсем не приспособлен для проживания!»
Я красочно всегда рисую
хлюпающую жижу под ногами,
склизоту и гололёдец,
метровые сосульки,
с грохотом вонзающиеся в тротуар,
иссиня-бледные физиономии
и распластанно-сумеречные
январские деньки
с морозящей хандрой и
меланхолическим бесприютом.
На что мои заморския гости
из какой-нибудь вечно солнечной Калифорнии
всегда возражают

примерно одинаковыми словами:

«Но красота ведь скрашивает и смягчает?»...

И вот сегодня,

чтобы хоть как-то скрасить и смягчить

свою изнурительную уже

бессонницу,

в четвёртом часу утра

выбираюсь побродить.

Мой «Золотой треугольник» —

Невский – Нева – Фонтанка,

когда-то «вот тебе и весь Петербург» —

вполне сносно освещён и иллюминирован,

я с ним сжился и приспособился,

и только в нём возникает ощущение

«дома» и безопасности.

Бреду сплошной чередой

всё ещё шумных ресторанов и кабаков,

вглядываюсь

в воды Екатерининского канала

на зыблющееся отражение Спаса на Крови,

долго выстаиваю у васнецовского распятия,

затем уже Мойкой

следую анфиладой особнячных фасадов.

Всматриваюсь в окна орбелиевской квартиры:

в роковые для Эрмитажа 30-е

в кабинете именитого директора

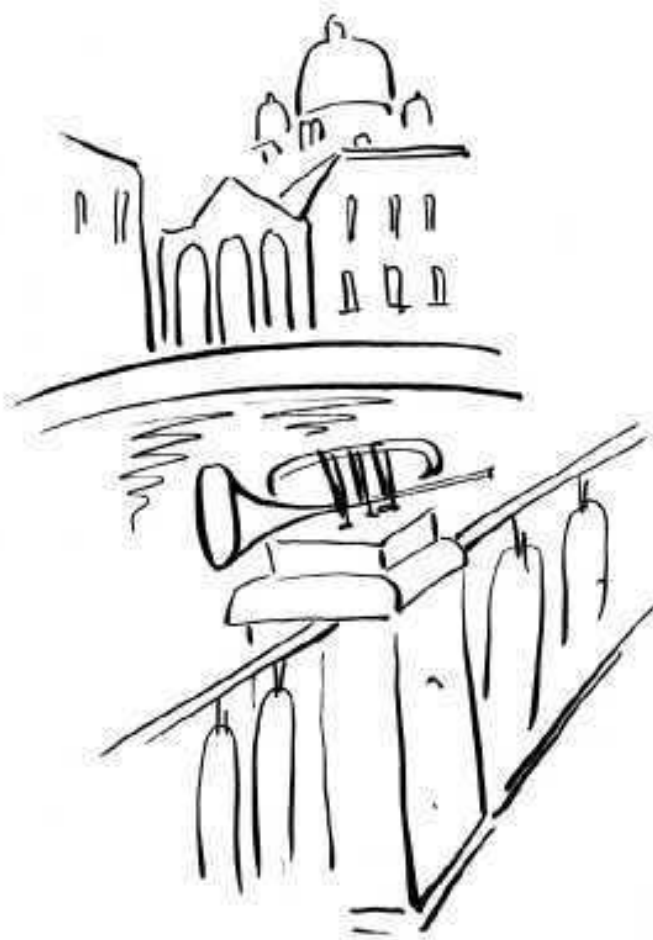
по ночам горел свет,

где своим каллиграфным почерком

Иосиф Абгарович

старательно очерчивал в характеристиках
«буржуазную подкладку»
в уже заарестованных соработниках...
В проёме между эрмитажными атлантами,
у каковых,
как это всегда случалось в детстве,
«пальчиком» прощупываю венозные прожилки
на гранитных ступнях
и созерцаю купол Иссакия...
А у Монферрановой колонны,
как это часто бывает
именно в это время —
одинокая фигура Михал Иваныча,
сумасшедшего трубача,
и стелющееся по пустынной площади
его мелизматическое,
для себя только и Господа,
музицирование.
Этот гениальный чудак
попал даже в западные книги рекордов,
поскольку Сороковую симфонию Моцарта
лихо выдувает,
стоя на голове.
Круглый сирота,
выходец из детского дома,
он научился говорить и общаться
с окружающими на трубе,
сам став её продолжением,
и когда ему явственно не хватает слов,

он приговаривает: «Счас!» —
и невыговоренные чувства
выдувает на своём инструменте.
Живёт он в Репино,
где, странствуя по свету,
выдул основательный особняк,
и до первой электрички,
в какую он должен вскорости
утомлённо погрузиться,
брожу вокруг да около кругами,
настраиваясь на его минорныя речитативы...



Зеркало

Люблю свой град пустым
и точно вымершим,
когда при вдруг нагрнувшем
десятиградусном морозце
шаги становятся гулкими
и иногда с отчётливо
тебя же и настигающим
эхом,
будто кто-то
как тень
явственно
со мною же
и вышагивает.

Люблю уже в четвёртом часу ночи
всмотреться в окна
Павловой опочивальни
в Инженерном
и мысленно пройтись
уже вслед за Его тенью
по ночным коридорам и переходам,
лестницам и закуткам;
вступить вслед за Ним
в парадные залы
и, оглянувшись
в венецианском

от потолка до полу
зазеркалье,
самому раствориться,
повстречавшись
только с Его,
карих глаз,
базедовым взглядом.

После царской гибели
Александр здесь уже никогда не появлялся:
все греческие антики и
гобелены самой Марии-Антуанетты,
кабинетные бюро и парадные лежа
были насовсем изнесены из замка,
кроме этих самых
венецианских зеркал,
куда, заглянув ненароком,
кадетики времён
Брянчанинова и Достоевского
как подрубленные
падали в обморок...
Люблю, вслед за Ним,
выйти на террасу,
присмотреться
за всполохами на Марсовом,
к игле Петропавловки,
к охранникам,
мирно посапывающим
в стеклянных будках
за оградой Летнего

и Инженерного тоже,
и к мальчишкам,
на похрустывающем ледку
у самого Чижика-Пыжика
ползающим
в поисках
в лунном отражении
блескучих
евроденежек...

Солнечные зайчики

Спозаранку по Марсову
похотливо цокают
«копытами»
жеманные стада девиц,
поспешающих на первую пару
в небезызвестный всем «Кулёк».
Уже в совсем позабытой,
прошлой жизни
я и сам баловался чтением лекций
в этом «приюте
для окультуренных невест».
Помню всё какие-то рожки да ножки
от бывшего дворцового великолепия.
А так – коридоры и аудитории,
крашенные
маслянисто-синюшным цветом —
привычный стандарт интерьера
советской эпохи:
роддома,
школы,
прокуратуры,
тюрьмы,
больницы и
морга,
словно и сама судьба

каждого из нас
должна была быть
того же самого колера.
На лекциях густо пахло «шанелью»,
кто-то из «генеральских дочек»
мерно пилил маникюр,
кто-то перед зеркальцем
наводил марафет
и веяло тем духом
анемичной холёности и пустоты,
какое, скажем, в бурсе
источает такое же стадо
поповских сынков,
полных уверенности,
что после нескольких лет
школярской отсидки
ряса да требник
и без всей этой благоглупной премудрости —
«прокормит, оденет и обует»...
Помню только всего
несколько
живых глаз
(и, как всегда, провинциалок)
из какой-нибудь Судогды или Касимова,
а то и из-за Уральского Тобольска
или совсем уже из сказочного
для меня Забайкалья.
Одеты они были,
в отличие от сановных «кукол Барби»,

в не Бог весть знает что
и ютились где-то
по общагам,
но сколько энергии,
непритворного Эроса
в самих этих глазах,
точно солнечные зайчики
посередь
осоловело-сонного царства
нашей Культурки...

Страусовы перья

Едва начнет развидняться,
и через дорогу
в Летнем
прочерчиваются
осклизлые силуэты
предолгих саркофагов,
до первой травки
покоящих в своих утробах
барочно-пухлявых
и маньерично-рукастых
Адонисов и Венерок.
Своей правильной и
симметричной хладью
выползают из обрывков
сизого туману
столь похожие на дворцовые
фасады казарм.
А матрешечная плясавица
Спаса на Крови
вдруг становится
всего лишь картинным задником
для шляпки
в «страусовых» перьях
и дамского стану
(впрочем, совсем уже и без талии),

с усилием втиснутого
в тугие черные шелка.
Обязательно с мопсом,
а то и двумя,
и тремя сразу,
вертлявыми и визгливо тьявкающими,
волокущими поводыршу
в совершенно разныя стороны.

Ценю в моей Незнакомке
непринужденное уменье
заполнить пейзаж
одной только собою,
такт,

с каким повязаны
на любимицах
банты
и как грациозно
на них же
смотрятся штанцы
матово-зеленого,
а то и темно-малинового
бархату.

Ведаю за ней
и особенный дар
раскрыть китайский зонтик
рукоютью
слоновой кости
(даже когда нет ни дождя,
ни солнышка)

только лишь для протяжки паузы,
после которой
и слышу
в сто первый раз
менторски озвученное подтверждение:
«Да – это Я
сделала из него писателя!»
Знаю, что отозвавшись
на любезное приглашение,
на пороге её квартиры
в нос мне ударит
настойный запах
кошачьей мочи
и придётся усесться на диван —
клеить к своему выходному
и единственному костюму
шерстяные клочья,
а её мопсихи,
расталкиваясь,
будут наперегонки
вползать мне на колени
в ожидании,
что я буду их поглаживать
и чесать им за ушами.
А она сама,
сняв только шляпу и
пригубив красного сухого,
пересыпать
(не совсем, впрочем, к месту и теме)

поэтами Мирры Лохвицкой
свои роковые речения...



На зависть потомкам

Едва только пригреет солнышко,
как на Марсовом
появляются шеренги голопузых мамочек,
в маечках,
едва прикрывающих
прикормленные тити,
и,
как правило, ещё и
в голубеньких стрингах
под сползающими
с налитых попок
фирменно продранными на коленках
джинсиками.

Тут же – разомлевшие
от «экзаменной» зубрёжки
ещё на юной травке,
слипшиеся и
заголившиеся
до этих самых стрингов
парочки.

Мальчишки
в одних трусах
до упаду пинают
футбол;
у самого «вечного» —

всполохами
огня —
прыгают девчонки
по могильным плитам,
точно по классикам;
оскалясь,
фоткаются в подвенечном
молодоженки.

И только какой-то
одинокий и сумасшедший пригорюнец
на этой ярмарке веселья
ошалело бродит,
вчитываясь в
1001-й раз
в розовом граните
выбитыя строки:
«Не жертвы – герои
лежат под этой могилой.
Не горе, а зависть
рождает судьба ваша
в сердцах Всех благодарных потомков.
В красные страшные дни
славно вы жили
и умирали прекрасно»...

Прилежные ученицы

В феврале 1917-го
Петроград закарнавалил,
и в чаду хороводных плясок
Временное правительство,
в апартаментах Зимнего
пируя
посередь чумной России,
всё «пританцовывало»
целый месяц
до упаду.
И лишь
к концу мартовской капли
вдруг вспомнило оно
про своих,
основательно уже засмердевших,
павших и убиенных.
Поначалу хотели
рыть яму
у самой
Монферрановой колонны
и только
салонный эстетизм Милюкова
да брезгливость Керенского
подвигнули
вырыть её

на самом уже
Марсовом поле.
Вернее,
из края в край
избороздили его
траншеями,
точно это германская передовая,
куда и плюхали рядком
наспех сколоченные
и впервые – красная
ящики,
впервые – без попов
и панихидного пения,
впервые – вместо крестов —
масонского рода
чёрными лоскутами
на длиннющих шестах...
С того и началась
наша ползучая смердяковщина —
танец маленьких бесенят
на порушенных старых устоях.
И богоборчество большевиков
было лишь
ученическим прилежанием и усвоением
народившихся новых мистерий.
И может потому
мы и не «чуем под собою страны»,
что, заголяясь
посреди теней забвенных предков,

так доселе
и вовсе неотпетых,
мы сами уже давным-давно
«покойники»...

На корточках

«Негасимая лампада»
посерёдке Марсова
влечет и манит
каждого проходящего.
Вокруг царственных фасадов
в нашем городке
уже настолько всё
выстужено и бесприютно,
что маленькому человеку
хочется,
прежде всего,
«погреться».
Ближе к ночи
у этого самого первого
с осени 1957-го
в эСССЭРии
«вечного огня»
собираются бомжи,
и в отрывающихся всполохах
иногда можно
улицезреть синюшного господина,
чмоканием припавшего
к дамской ручке и не без галантности
и чопорных манер
протягивающего

прожаренную сосиску
с еще каплющим жирком
своей подбитоглазой Дульсинею.

Чуть позже
собираются здесь
совсем вымерзшие
от бродяжничества по набережным
парочки,
с неременной пивной бутылью
в девической
длани.

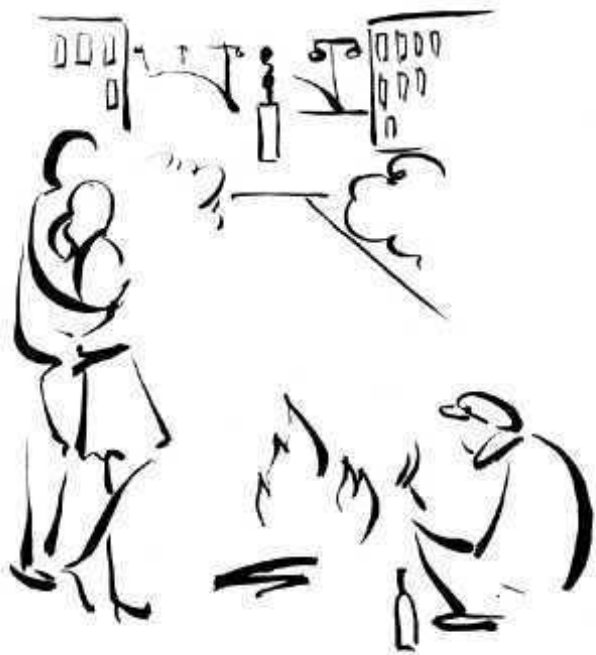
Иногда целая компания
похожих на хиппи
молодых людей
носит скамейки
прямо к самому огоньку
и, выпростав дымящиеся боты,
под изнасилованно-тренькающую гитару
что-то осипше хоровит.

Ближе к августу
эта «лампада»
совсем испужанно дёргается
от рёва орды многосильных
и блескучих никелем
«Харлеев» —
фестивальная компания
в кожанках
бородачей,
вдоволь наносившись

на своих лошадушках,
коротает здесь остаток
белой ночи.

И как всегда,
в половине седьмого утра,
цокая кирзою,
ошалело носится по полю
стадо
доходяжных солдатушек
из воинской части
на Миллионной,
какие прытко и
короткими перебежками,
отделяясь,
и впрыгивают в
этот самый
ритуальный квадрат.
Сидят они
ближе уже некуда
к самому огоньку,
так пережидая
принудительно навязанную физру,
и всегда на корточках и
как-то приниженно
ссутулившись.
И меня вдруг всегда
охватывает
шоковое безумие
от когда-то

подсмотренных кошмаров
моего уже далёкого
сибирского детства:
ВОХРа
в желто-коричневатых дублёнках;
на укороченных поводках —
свора
неистово беснующихся
немецких овчарок;
а на снегу —
вот также,
точно молотом притюкнутые
и униженно сплюснутые —
корточно-распластанья
зэка...



Голосит

На Марсовом
всегда пытаюсь отдышаться.
Нынешняя особенность
моей психеи такова,
что я точно всё пытаюсь сделать
вздых полной грудью,
а он у меня
всё никак и никак
не получается.
Поэтому частенько,
застыв в остолбенении,
словно силясь
припомнить что-то
совсем уже позабытое
и, пожалуй,
навсегда выпавшее
из пазух моего бытия,
смотрю сквозь марево
вечнующего огня,
как за потешно величавым Суворовым
плывет и расползается
станина Троицкого мосту
и как в лижущия языки
медлительно сползает
гусеница из узкоглазых авто.

А за всей этой картиной —
ещё и брэнчание допотопного пианино,
какое, сколько бы ни настраивали,
шелестит надтреснутыми позвуками,
а иногда и совсем внезапно
изнутри
вдруг жалобливо голосит...

Выросши скоты

В детстве в Летнем
норовил проложить лыжню по целине,
потом, уже где-то на третьем кругу
отвязав «дрова» от ботиночек,
спуститься на хрупкий ледок Фонтанки
и попробовать лупасить его
каблуком,
а ежели он ещё и скользкий,
разбежавшись,
прокатиться по нему
с ветерком
и так почти до упаду.
«У других детки как детки,
а этот „кроха“ —
сплошное Божье наказание!» —
говаривала про меня
моя мамочка,
когда я возвращался домой
весь мокрый...
Любил вытащить из кармана
краюху хлебушка
и, премелко кроша,
кормить скачущих у ног
чаек,
бросая самым неуклюжим

и, как всегда, печалюсь,
что хлебушек выхватывают
всё равно
самые прыткие.
Потом уже у
дедушки Крылова,
пока никто не видит,
любил хулигански перелезть
за ограду
и подёргать мартышку за хвостик,
журувашку погладить по шейке,
слонику пощекотать хобот
и пытаться дотянуться
до пребольшого кусочка сыра
в клюве у преглупой вороны,
ещё совсем и не догадываясь
про презлую эпиграмму
Петра Шумахера:

«Лукавый дедушка с гранитной высоты
Глядит, как резвятся вокруг него ребята,
И думает себе: „О, милые зверята,
Какие, выросши, вы будете скоты!“»...

Скрип валенок

В Летнем

летом

мне всегда не хватает

«неба над головой»,

да и значимый

самим своим только

ничего неделанием,

он являет собой площадку

для сплошных

стахановских заделов:

туристские толпы,

выгружаясь из автобусов,

лихорадочно фотаются

у дедушки Крылова

и ещё у каждой скульптуры

группами и отдельно,

в напряге позируя непринужденность;

студентки, ковыряясь в носу,

зубрят, «не разгибая спины»;

мамочки – в извечно менторной

методе воспитания:

«Сядь – встань – не качайся —

не болтай ногами – не кривляйся,

цыц, я сказала – заткни фонтан,

не реви, ты же – мужик!»...

И только зимой,
именно в Летнем саду,
за морозливым хрустом
ботинок
по снежному насту
отчётливо вспоминаю
скрипение детских валенок,
пар изо рта,
свой красный нос,
какой я растираю ладошкой,
выпростав её из вязаной варежки,
как-то хитро́
резинкой подвязанной
к моей же,
почему-то волчьей,
шубке...
Люблю снова
детскими очами
созерцать солнышко
сквозь стеклянную крышу Мухи;
чують,
как оно пригревает,
и чайть скорой уже капли;
смотреть на уточек
в польнье под Пантелеимоновским,
на воробышков,
поклёвывающих на льду,
и на Глашеньку —
блаженную старушенцию

в старомодном прикиде,
какая, по пути в храм,
с моста разбрасывает
целую котомку
выпрошенных по рюмочным
хлебных корочек и огрызков...



«Проклятие кармы»

В самую минуту открытия
в Летнем
немудрено натолкнуться
и на Володю О.

В часу седьмом утра
он сидит, по обычаю,
ещё в подвальных кафешках
на Невском,
где с отстранённым
не от мира сего
поглядом
всё помешивает
и помешивает
принесённый ему кофий.

Потом,
если нет пронизывающего ветерка,
скитальчествует по набережным
с тем же самым странным ощущением,
что он смотрит
точно сквозь проходящих.

В Летний
с набережной
он и забредает
в той же хмарной погружённости
в какую-то

вроде как уже
другую реальность.
Начинал он в садке
для узкоодарённых деток —
в новосибирской школе-интернате
при Академии Наук:
математику и физику им читали
самые натуральные академики,
решившие поставить
выращивание гениев
на поток
(физики тогда казались
олимпийскими небожителями).
В это же примерно время
вышел знаменитый фильм
«Девять дней одного года»,
где некое учено светило,
получив во время эксперимента
смертельную дозу
радиации,
живо обсуждает учёные результаты,
а супруге,
прибывавшей впопыхах, говорит:
«Ну, а с тобой
мы ещё успеем попрощаться!»...
На двадцать четвертом году жизни Володя
защитил уже докторскую,
но потом взялся за какую-то «вечную»
задачку по математике,

за разрешение которой
сразу же обещали Нобелевку и...
вскоре как-то совсем неожиданно
«надорвался».

По другой версии,
им же поведанной,
он её всё-таки разрешил,
но в ту же самую ночь
это решение украли «жиды»,
и Нобелевскую премию
получил на другом конце света
известный американский
математический
«вор в законе»...

Было бы ему совсем тошно
месяцами не вылезать из Бехтеревки,
если бы лет тридцать назад
я бы не дал ему почитать
«Житие» протопопа Аввакума.

И что-то его тогда
пронзило,
как-будто вдруг он что-то вспомнил.
И помню его склонённым в
Пушкинском Доме
уже над рукописным автографом
и букву за буквой
каллиграфно переписывающим
текст неистового протопопа.
Потом также он переписал

Евангелие
царицы Софьи,
какое она писала уже
в монастырском заточении,
научился переплетать в кожу,
оброс длиннющей бородой
и стал как две капли походить
на породистого старовера.
И только тогда
умиравшая мамочка
вдруг проговорила,
что его дедушка
был знаменитым
поморского согласия
наставником,
расстрелянным ещё в 28-м,
и что сами они потом
старательно хоронили себя
от «религиозного дурмана»,
и Володеньку старались воспитать —
хотели ведь, как лучше —
в духе «нового человека»
и надо же:
«Мало того, что он сломался,
но и выполз
в родненьком сыночке
вдруг этот самый
„опиум для народа“...»



Из цикла «Мраморный»

Сиделец

В морозный солнечный денёк,
когда у меня дома
выстужено
и спать приходится
в трёх свитерах,
и приходится поневоле
ещё и топить камин,
люблю совершить променад
по Мраморному.
Первому хозяину, Григорию Орлову,
так и не суждено было ступить
под его своды,
понятное дело,
и «богатые тоже плачут».
И последний обитатель
К.Р. —
Константин Константиныч,
покоился здесь
в эротоманно-меланхолических интерьерах
уже
брюлловской переделки

1830-х,

в неге перегруженно-вязкого рококо
изнывая от томления и скуки
посередь своего многочисленного
семейства

и в дневнике своём
оживляясь и разрезваясь
токмо в описаниях
банных посиделок
с безусыми и розовощёкими
ординарцами...

Ничего не осталось в этом дворце
от былого прошлого:
музей Ленина

смыл и аляповатую лепнину с потолков,
и сплошную позолоту с них,
и только лестница
напоминает

о былом величии
да ещё и мраморный зал
Антония Ринальди.

Люблю в этой мраморной шкатулке
с утреча,

когда никого ещё и в помину нет,
подойти к дубовому окну-витрине
и долго-предолго
всматриваться
в шпиль Петропавловки
и на ворон,

подпрыгивающих
на ледяных торосах
застывшей Невы...
Потом люблю,
улучив одобрительный
кивок зрителя,
потрогать начищенную медь
узловатой «шишечки»
оконного затвора
и далее – разговориться
ненароком
с самим сидельцем:
«А приходите Вы к нам „сидеть“ —
и пенсия сохраняется, и
пять тыщ плотют,
и сидишь —
всё лобуишься
и лобуишься!» —
«Заманчиво! —
подыгрываю я. —
Ой, же как на старости лет
заманчиво-то...»



Пощёчина

В Мраморном
никогда не лишаю себя удовольствия
пройтись по гулкой пустоте
«музея Людвига»,
послушать дамское щебетание
и «почесать языком»
со скучающими сиделками.
Как «кавалер со стажем»
всегда обращаю внимание
на перемены в макияже
и на новые романтические черты
в очередном прикиде.
Мои дамы,
как им и положено,
пунцовеют от удовольствия
и сто первый раз жалуются
не на холод и сквозняки,
всегда в музеях привычные,
сколько на шедевры
Пикассо и Сегала,
В. Янкилевского и Дж. Боровски,
от одного соприсутствия которых
им становится дурно,
и к концу дня
им уже непридуманно кажется,

что это некрофильское хулиганство
из них «всю жизнь повысасывало».

Я и сам эту запоздалую
уже отрыжку,
в рамках «пощечины общественному вкусу»,
воспринимаю за живое
и охотно всегда верю
в вампиризм этого
эстетски выверенного скандала.

Но как всегда, люблю
моих дам подразнить,
обозвав всё это ещё и высоким «искусством»!

В ответ слышу всегда гневные филиппики
и удивление, что от меня,
человека вроде как образованного,
им приходится выслушивать
подобную «галиматью».

Я, как всегда, робко
пытаюсь спорить,
невзначай помянув имена Гусева и Боровского,
тем самым подливая масла в огонь,
так что праведный гнев
обрушивается уже не на мою,
а на головы музейного начальства:
«Это ж надо быть полными придурками,
чтоб так сбрендить и
захламить дворец
столь безобразной мазней!»
Всегда,

даже играя с дамами в шашки,
любил изобразить «натиск»
и быть уже на шаг от победы,
но потом внезапно «зевнуть»
и дать дамскому сердцу
победно возликовать.

Так и здесь:

я сдаюсь на волю
всегда милосердной воительницы,
и она уже,
словоохотливо пересказывая мне,
что слышала от экскурсоводов
о Врубеле
и его трагической судьбе,
точно на крыльях сама улетает
в незабвенный для нея
и приснопамятный
серебряный век...

Порточки

Любил,
в бытность в Мраморном
ещё музеею Ленина,
обойти
вкруг пьедестальца
броневик
и всенепременно постучать
его тростью,
чтоб он,
отозвавшись внутриутробной глушью,
ещё раз
(не без удовольствия)
меня бы удостоверить,
что большевики
чего-чего,
а металлу
и впрямь – на новоделы
не жалели.
Любил зайти и в колодец двора,
чтобы, высмотрев
витрину зимнего сада,
понаходить и те самыя окошка,
где когда-то была
мавританского стилю
музыкальная гостиная,

с самим Константином Константинычем,
застывшим
за виолончелью
в куртуазно-истомной манере...
В самой ленинской экспозиции
дневного света и вовсе не было —
езде «таинственный полумрак»,
а то и просто
«темень преисподней»,
где, попривыкнув,
можно было только и разглядеть
что ильичовский китель
с дыркой на плече,
мастерски пробитой
дрожливой ручкой
абсолютно к тому времени
ослепшей
Фани Каплан...
Где бы я только не бывал,
за правило всегда считал
посещать музеи Ильича,
нет-нет да и выискивая там
что-нибудь сногшибательное,
прихотив к тому и сродников,
и даже свою легендарную
тётушку-матерщинницу,
показав ей как-то
(кажется, в Саратове)
развешанные под стеклом

лукичовские,
рыжевато-голубого цвета,
«исподняя порточка»...

Ковыряться

Любил
в Ленинском музее
потоптаться и
у немецкой карты
обстрела блокадного Ленинграда,
где крестиками были помечены
только окраинные заводы
да госпитали.
Потому и не порушено было ими
ни одного дворца,
ни храма,
что понапрасну пороху они
не палили,
а если что и жгли,
то уж наверняка
и тютельница в тютельку.
Одна из таких бомб
смела половину бывшей питерской
духовной семинарии
вместе с тамошним медсанбатом,
а другая – уже в тонну весом —
попала в самый большой в городе
госпиталь на Суворовском.
И как потом вспоминал
дорогой и близкий мне человек:

«В этом месиве битого кирпича,
оторванных рук и ног
и мычаще-сдавленных тел
пришлось мне
(тогда только шестнадцатилетней)
„ковыряться“
без сна и роздыха
добрых три недели»...

Дозор

Полночи опять промаявшись в бессоннице,
норовлю выползти к Мраморному
к часу уже четвёртому утра
и, всматриваясь в окна
второго этажа,
уже мысленно прошмыгиваю
сквозь прутья затворённых врат,
делаю кружочек вокруг
кургузого седалища Александра Третьяго
и, отворив тяжеленную входную дверь,
визгливо ею же и вхлопываюсь
в сумрак мраморной лестницы.
Обход свой начинаю вдоль
парадного портрету
всё сплошь
осмнадцатого веку,
затянутого в тугий корсет и
тяжеловесную парчу,
мундир
с наглухо застёгнутой шеей,
золотом позументов,
брульянтовым Андреем
и Аннушкой на шее.
И по традиции,
приблизившись к величаво

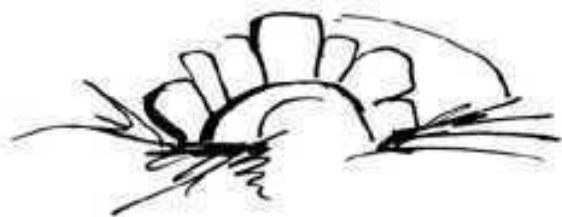
подбоченившемся Павлу,
каковой только этого словно и ожидает,
кланяюсь этикетно,
когда он нетерпеливо
цокающим каблучком
(как есть —
в муаровой мантии
и с мальтийским крестом)
проворно вываливается
из золочёной рамы,
и, уже топоча в унисон,
мы обходим дозором
дворец папенькиного
убивца и узурпатора.



Хрусть-хрусть

Павел Петрович
уже по привычке
всматривается в мерцающий
мертвенным
отсвет
газовых фонарей
за окнами
и в брызжущия искры
из-под копыт
несущихся одиноко всадников.
Медный Пётр поскакивает медленно,
всё пытаясь
настигнуть и потоптаться
по тени
маленького человечка...
Другой Петр,
так не любимый маменькой
и у Михайловского
поставленный ей назло,
всё пробует пуститься в галоп,
но бредет ещё неторопливей,
словно на капустном поле
пиная
человечьи главы...
Николаша,

потряхивая киверными перьями
на иссиня-бледном Конё,
точно на минном поле
вминает
торцы булгы
с костным хрустом,
как будто фосфоресцирующие черепа...
И Александр Александрыч
хрустит грузно
Конём Вороным
уже только по
рассыпавшимся косточкам...
«Хрусть-хрусть,
хрусть-хрусть...» —
хрустом наполняется и наш
Белоколонный зал,
а тень Русского Гамлета
кашляит
с колыхающимся нагрудным
Мальтийским крестом,
кашляит,
точно не может откашляться,
пока в резонирующем
от потолка
эхе
не проступает,
звучащий дико,
гомерический
монарший хохот...



Шило на мыло

В сырость и неуют
и хлюпающую грязь под ногами,
по убийственной склизоте,
когда на сердце
всё развидняющиеся потёмки и
чертополосица мелкого,
точно в крапинку,
дождика,
кое-как докандыбав до Мраморного,
сразу же поднимаюсь
на самый верхотурный
(когда-то спальный)
третий этаж
и уже чуть ли не на последнем вздохе
вваливаюсь в «коллекцию братьев Ржевских»
и только тут оттаиваю и отхожу,
и помаленьку начинаю отогреваться.
Снова ностальгически знакомый
дух собирательства
с этой привычной у антикваров
захламленностью
и всё какими-то кучами
на антресолях, под ванной, в оттоманке,
откуда только
незнамо как ведающая рука

может выудить дуэльный пистолет
англицкой работы,
но без спускового курка,
шведскую бисерную вышивку
начала девятнадцатого
или порыжелые голландские кружева
самого, может быть, Казановы.
Уже лет двадцать,
как сам бросил «собирать»
и сюда прихожу
всё равно что бывший заядлый курильщик,
чтоб насладиться хотя бы ароматом
этой, затягивающей порой
в истовое безумие,
страсти.

Конечно, в Мраморном
уже нет ни хламу,
ни тряпичности,
но – соприсутствие всего этого,
как и трясущихся собирательских рук,
при виде какой-нибудь в твоих руках
новой штучки.

Хотя и изображает
собиратель полное равнодушие,
а горящий мальчишеский погляд
всё равно выдаёт его с головой.
И голова его вроде уже вся седая,
а сто первый слышишь,
как в предалёком детстве,

с плохо скрываемой
хитрецей и лукавством:
«А давай-ка, брат, меняться!..»

И я сам, будто мне только
четвёртый годочек пошёл,
отвечаю:

«Ха, нашёл дурака... на четыре кулака!»

Долго стою перед акварелькой Александра Бенуа,
какую Ёся Ржевский выменял у меня когда-то
вроде как шило на мыло,
и снова цепенею над
всё ускользающей призрачностью
столь близко-далёкого мне
серебряного веку...

Муки адския

Прощаешься с «коллекцией братьев Ржевских»,
всё ведь, в основном, русской живописи —
Дубовским, Кустодиевым, Поленовым, Крамским,
точно с вот-вот

прячущимся уже за горизонтом
и без того
блёклым солнышком,
и уже по чувству долга
обходишь залы с очередной выставкой
«нового искусства».

В них, как всегда, пусто,
как пустынно в музеях
современного искусства
и по всей Европе.

Там – это переделанные в музей
или вокзал, или заводские цеха
глухие частенько вёрсты
кубизма... некрореализма, некроромантизма,
русского некро-реал-романтизма,
вымороченные,
вторичные по технике и форме,
как запоздалая отрывка
давно минувшей моды.

Так и здесь в Мраморном:
всё те же раскрашенные фотографии,

еще и диссонирующие с дворцовым интерьером,
побитые писсуары с помоек,
фосфоресцирующие «инсталляции»
с отрубленными головами на блюдах
знаменитых ныне «диджеев»
и видео на стенке
с мерцанием
чей-то бесконечной агонии,
трупного разложения
или алчной скотобойни,
какие и должны сказать «всю правду»
о нашей энтропийной цивилизации.
Все эти плевки и пощёчины
буржуазному строю и обществу,
несмотря на художные
старания и изворотливость,
уже давно скандалу или ажиотажу
вообще никакого
не вызывают,
и обычно обрыдло бродишь
посреди этих гильотин и
плах,
залитых
клюквенными потоками крови,
покачивающихся на верёвках
секир и топоров
и пластмассового страдания,
немилосердно зевая
и уже из последних

что ни на есть сил,
точно полдня так и протягал
с баржи на пристань
тяжеленно-пыльные
мешки с мукою.
И только бабушке,
сидящей посреди всего этого
ужасу
с наполовину связанным
для правнучка носочком,
сочувственно протягиваешь:
«Ну и достаётся же Вам, бедной!» —
«И не говорите,
и не говори, мил человек:
пришла в Русский —
думала у Шишкина в зале буду сидеть
или у Васильева,
а вот, можно сказать,
на муки адские
отправили
сидеть сюда...»



Край бездны

Коридоры любой Академии,
завешаны портретами Учителей:
поначалу – дореволюционных,
зачастую вальяжных и барственных,
с окладистыми бородами,
а потом уже и «красной» профессуры,
стриженной и бритой,
и, как выразился недавно
мой оксфордский приятель,
больше «смахивающей на уголовников,
чем на академиков»,
как ни странно, и указывает
на правду того же кубизма
с его условно вычерченными гримасами.
Он ведь и появился
в ту самую трагическую
годину серебряного века
с его декадантской утончённостью
и, как это ни странно,
ещё и жаждой,
томным скучанием
по новой войне и мировой смуте,
когда ценность человеческой личности
стала вдруг понижаться до беспределу
и само лицо вдруг

заменялось на личину.
Меня всегда умиляла
эта усталость от «мира»
после долгой эпохи Александра Третьяго —
жандармского «сдерживания»
и, независимо от партийности и идеологии
на заре двадцатого столетия
в мысли русского Ренессанса,
повально всеобщая жажда крови:
«Пусть сильнее грянет буря!»
И ведь менее всего
тогда брат наш,
художник,
был похож на пророка или прорицателя,
но «Чёрный квадрат» Малевича,
пускай даже
как только хулиганство и провокация
и маленького рода эпатаж,
появился именно в 1914-м,
накануне первой всемирной
и уже всечеловеческой бойни.
И только уже потом
народилась разрушающая
традиционную гармонию
атональность
в музыке
и безликий конструктивизм
в архитектуре.
Иногда я подолгу выстаиваю

у этого самого первого «квадрата»
и очевидно зелёным,
голубым и красным,
в трещинках и бороздах,
за этим – окончательно чёрным
и посреди шума и гама
слоняющихся толп
отчётливо слышу посвист
«чёрной дыры» и воронки —
той самой
предсмертнодержавинской
«пропасти забвенья»,
затягивающей в себя
«народы, царства и царей»,
и нужно подчас невероятное усилие
остатков моего,
давно уже
немотствующего духа,
чтоб самому удержаться
на этом самом «краю»...



Из цикла «Чижик-пыжик»

Учились вместе

Даже если и не по пути,
всегда стараюсь сделать
кружочек по Фонтанке
ради одного только Чижика-Пыжика:
уже в часу пятом утра
там всегда маячит старик
с мастерски сработанным
катушечным электромагнитом на верёвке.
Я всегда с некоторым сердечным обмиранием
подхожу к этому уголку,
где из Фонтанки
(кстати, вытекающей из Невы)
берёт своё начало ещё и Мойка:
как-то даже уже страшно становится
за это сакрализовавшееся
творение Резо Габриадзе —
французскую «пти» – с гулькин нос бронзовую мелочь,
к какой тянутся мириады паломников,
не зазря предпочитающих обходить
почему-то стороною
цетелевских колоссов.

У отлучённого от Церкви
скандального Ойгена Древерманна,
в книге про древний Египет,
«пти» – это центр мира,
как это ни странно, и его «душа»,
его «Начало» и одновременно – его «Конец»,
точно пророкливый свиток,
где проставлены Альфа и Омега
нашего бытования,
какой сначала разворачивают,
помечая знаками древний мир,
указуя одной только закорючкой
на средние века,
и потом уже, в «новейшее время»,
его снова сворачивают
огненные языки самого Апокалипсиса,
чтобы по окончании Божьей
икономии (домостроительства)
снова вернуться к изначальному
пти-первообразу.
Уже трижды сердце обмирало,
когда, заглянув вниз,
не обретал своего любимца.
Всегда чувствую зоны
святотатственного похитителя,
даже если сделал это он чужими руками,
и иногда так и подмывает
заглянуть ненароком к нему в гости
и из оттоманки – вороха книг и рукописей,

дерюг и старых кож – выудить
прикровенное сокровище,
но всегда что-то останавливает,
ибо я и сам уже иногда пугаюсь
собственной «проницательности»...

Подходя к старику
с катушечно-сварганенным магнитом,
спрашиваю про «улов»,
на что он всегда недовольно хмыкает.

И всегда добавляю:

«Молодец, старина,
видно по физике в школе пятёрка была...» —
«Да, – отвечает он, —
по литературе – тройка,
а по физике – пятерик,
а мы, что – учились вместе?!»...

Лествица

А чуть позже, к началу шестого утра,
добычу из монеток-рублёвиков,
а иногда и реденьких евриков
добирают двое мальчишек.
Один – обязательно в болотных
не по размеру – вроде как наследственных
сапожищах,
приспустив к Чижиху-Пыжиху
ещё и разборную лестницу.
«Лествицу, дайте мне лествицу!» —
всполохнулся когда-то, под самый конец
от предсмертного забытья,
Николай Васильевич Гоголь.
И это лестница,
приставленная мальчишескими руками
к прасимволу «Начала и Конца»,
иногда и мне грезится
той самой,
возводящей до Небес,
Лествицей.
В Летнем – матово отблескивает
гранит громадной вазы;
тоненький серпик
никем так и «не покраденной»
луны

просвечивает сквозь крышу Мухи;
посапывают охранники в стеклянных будках;
а в окно Инженерного
всматривается на всю эту комедь иссиня —
бледная тень Павла
накануне той самой,
роковой для него и всех нас,
нощи...

Наше всё

У Чижика-Пыжика можно долго стоять
и наблюдать, как народные толпы —
на «загадай желанье» —
роняют в Фонтанку медные денежки.
Воистину Чижик незаметно
стал для всех
тем самым нашим «всё»,
потихонечку потеснив и Пушкина,
и всех других,
опробованных на этом местечке
литературных идиолов.
Если у раннего Пришвина
русский образованец
вторую рюмку водки опрокидывал в себя
под непереносимое мурлыканье:
«Выпил рюмку, выпил две...»,
а после четвёртой или пятой

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.